

Толстой Л. Н.

Из кавказских воспоминаний. Разжалованный

Толстой Л. Н. Из кавказских воспоминаний. Разжалованный // Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: в 90 тт. Т. 3. М.: Гос. изд. «Художественная литература», 1935. С. 75–99. 1856 г.

Мы стояли в отряде. — Дела уже кончались, дорубали просеку и с каждым днем ожидали из штаба приказа об отступлении в крепость. Наш дивизион батарейных орудий стоял на скате крутого горного хребта, оканчивающегося быстрой горной речкой Мечиком, и должен был обстреливать расстилавшуюся впереди равнину. На живописной равнине этой, вне выстрела, изредка, особенно перед вечером, там и сям показывались невраждебные группы конных горцев, выезжавших из любопытства посмотреть на русский лагерь. Вечер был ясный, тихий и свежий, как обыкновенно декабрьские вечера на Кавказе, солнце спускалось за крутым отрогом гор налево и бросало розовые лучи на палатки, рассыпанные по горе, на движущиеся группы солдат и на наши два орудия, тяжело, как будто вытянув шеи, неподвижно стоявшие в двух шагах от нас на земляной батарее. Пехотный пикет, расположенный на бугре налево, отчетливо обозначался на прозрачном свете заката, с своими козлами ружей, фигурой часового, группой солдат и дымом разложенного костра. Направо и налево, по полугоре, на черной притоптанной земле белели палатки, а за палатками чернели голые стволы чинарного леса, в котором беспрестанно стучали топорами, трещали костры и с грохотом падали подрубленные деревья. Голубоватый дым трубой подымался со всех сторон в светло-синее морозное небо. Мимо палаток и нивами около ручья тянулись с топотом и фырканием казаки, драгуны и артиллеристы, возвращавшиеся с водопоя. Начинало подмораживать, все звуки были слышны особенно явственно, — и далеко вперед по равнине было видно в чистом редком воздухе.

Неприятельские кучки, уже не возбуждая любопытства солдат, тихо разъезжали по светло-желтому жневью кукурузных полей, кой-где из-за деревьев виднелись высокие столбы кладбищ и дымящиеся аулы.

Наша палатка стояла недалеко от орудий, на сухом и высоком месте, с которого вид был особенно обширен. Подле палатки, около самой батареи, на расчищенной площадке была устроена нами игра в городки или чушки. Услужливые солдатики тут же приделали для нас плетеные лавочки и столик. По причине всех этих удобств артиллерийские офицеры, наши товарищи и несколько пехотных любили по вечерам собираться в нашей батарее и называли это место клубом.

Вечер был славный, лучшие игроки собрались, и мы играли в городки. Я, прапорщик Д. и поручик О. проиграли сряду две партии и к общему удовольствию и смеху зрителей, — офицеров, солдат и денщиков, глядевших на нас из своих палаток, — провезли два раза на своих спинах выигравшую партию от одного кона до другого.

Особенно забавно было положение огромного, толстого штабс-капитана Ш., который, задыхаясь и добродушно улыбаясь, с волочащимися по земле ногами проехал на маленьком и тщедушном поручике О. Но становилось уже поздно, денщики вынесли нам, на всех шесть человек, три стакана чая без блюдец, и мы, окончив игру,

подошли к плетеным лавочкам. Около них стоял незнакомый нам небольшой человечек с кривыми ногами, в нагольном тулупе и в папахе с длинной висящей белой шерстью.

Как только мы подошли близко к нему, он нерешительно несколько раз снял и надел шапку и несколько раз как будто собирался подойти к нам и снова останавливался.

Но решив, должно быть, что уже больше нельзя оставаться незамеченным, незнакомый человек этот снял шапку и, обходя нас кругом, подошел к штабс-капитану Ш.

— А, Гуськантини! Ну что, батенька? — сказал ему Ш. добродушно улыбаясь еще под влиянием своей поездки.

Гуськантини, как его назвал Ш., тотчас же надел шапку и сделал вид, что он засовывает руки в карманы полушубка, но с той стороны, с которой он стоял ко мне, кармана на полушубке не было, и маленькая красная рука его осталась в неловком положении. Мне хотелось решить, кто такой был этот человек (юнкер или разжалованный?), и я, не замечая того, что мой взгляд (т. е. взгляд незнакомого офицера) смущал его, вглядывался пристально в его одежду и наружность. Ему казалось лет тридцать. Маленькие, серые, круглые глаза его как-то заспанно и вместе с тем беспокойно выглядывали из-за грязного, белого курпея папахи, висевшего ему на лицо. Толстый, неправильный нос среди ввалившихся щек изобличал болезненную, неестественную худобу. Губы, весьма мало закрытые редкими, мягкими, белесоватыми усами, беспрестанно находились в беспокойном состоянии, как будто пытались принять то то, то другое выражение. Но все эти выражения были как-то недоконченны; на лице его оставалось постоянно одно преобладающее выражение испуга и торопливости. Худую, жилистую шею его обвязывал шерстяной зеленый шарф, скрывающийся под полушубком. Полушубок был затертый, короткий, с нашитой собакой на воротнике и на фальшивых карманах. Панталоны были клетчатые, пепельного цвета, и сапоги с короткими нечерненными солдатскими голенищами.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, — сказал я ему, когда он снова, робко взглянув на меня, снял было шапку.

Он поклонился мне с благодарным выражением, надел шапку и, достав из кармана грязный ситцевый кисет на шнурочках, стал делать папироску.

Я сам недавно был юнкером, старым юнкером, неспособным уже быть добродушно-услужливым младшим товарищем, и юнкером без состояния, поэтому, хорошо зная всю моральную тяжесть этого положения для немолодого и самолюбивого человека, я сочувствовал всем людям, находящимся в таком положении, и старался объяснить себе их характер и степень и направление умственных способностей, для того чтобы по этому судить о степени их моральных страданий. Этот юнкер или разжалованный, по своему беспокойному взгляду и тому умышленному беспрестанному изменению выражения лица, которое я заметил в нем, казался мне человеком очень неглупым и крайне самолюбивым в поэтому очень жалким.

Штабс-капитан Ш. предложил нам сыграть еще партию в городки, с тем чтобы проигравшая партия, кроме перевозу, заплатила за несколько бутылок красного вина, рому, сахару, корицы и гвоздики для глинтвейна, который в эту зиму, по случаю холода, был в большой моде в нашем отряде. Гуськантини, как его опять назвал Ш., тоже пригласили в партию, но, перед тем как начинать игру, он, видимо борясь между удовольствием, которое ему доставило это приглашение, и

каким-то страхом, отвел в сторону штабс-капитана Ш. и стал что-то нашептывать ему.

Добродушный штабс-капитан ударил его своей пухлой, большой ладонью по животу и громко отвечал: "Ничего, батенька, я вам поверю".

Когда игра кончилась, и та партия, в которой был незнакомый нижний чин, выиграла, и ему пришлось ехать верхом на одном из наших офицеров, прапорщике Д., -- прапорщик покраснел, отошел к диванчикам и предложил нижнему чину папирос в виде выкупа. Пока заказали глинтвейн и в денщицкой палатке слышалось хлопотливое хозяйничанье Никиты, посылавшего вестового за корицей и гвоздикой, и спина его натягивала то там, то сям грязные полы палатки, мы все семь человек уселись около лавочек и, попеременно попивая чай из трех стаканов и посматривая вперед на начинавшую одеваться сумерками равнину, разговаривали и смеялись о разных обстоятельствах игры. Незнакомый человек в полушубке не принимал участия в разговоре, упорно отказывался от чая, который я несколько раз предлагал ему, и, сидя на земле по-татарски, одну за другою делал из мелкого табаку папироски и выкуривал их, как видно было, не столько для своего удовольствия, сколько для того, чтобы дать себе вид чем-нибудь занятого человека. Когда заговорили о том, что на завтра ожидают отступления и, может быть, дела, он приподнялся на колени и, обращаясь к одному штабс-капитану Ш., сказал, что он был теперь дома у адъютанта и сам писал приказ о выступлении на завтра. Мы все молчали в то время, как он говорил, и, несмотря на то, что он видимо робел, заставили его повторить это крайне для нас интересное известие. Он повторил сказанное, прибавив однако, что он был а сидел у адъютанта, с которым он живет вместе, в то время как принесли приказание.

-- Смотрите, коли вы не лжете, батенька, так мне надо в своей роте итти приказать кой-что к завтраму, -- сказал штабс-капитан Ш.

-- Нет... отчего же?.. как же можно, я наверно... -- заговорил нижний чин, но вдруг замолчал и, видимо решившись обидеться, ненатурально нахмурил брови и, шепча что-то себе под нос, снова начал делать папироску. Но высыпаемого мельчайшего табаку уже было недостаточно в его ситцевом кисете, и он попросил Ш. одолжить ему папиросочку. Мы довольно долго продолжали между собою ту однообразную военную болтовню, которую знает каждый, кто бывал в походах, жаловались все одними и теми же выражениями на скуку и продолжительность похода, одним и тем же манером рассуждали о начальстве, все так же, как много раз прежде, хвалили одного товарища, жалели другого, удивлялись, как много выиграл тот, как много проиграл этот, и т.д., и т.д.

-- Вот, батенька, адъютант-то наш прорвался так прорвался, -- сказал штабс-капитан Ш., -- в штабе вечно в выигрыше был, с кем ни сядет, бывало, загребет, а теперь уж второй месяц все проигрывает. Не задался ему нынешний отряд. Я думаю, монетов 1000 спустил, да и вещей монетов на 500: ковер, что у Мухина выиграл, пистолеты Никитинские, часы золотые, от Сады, что ему Воронцов подарил, все ухнуло.

-- Поделом ему, -- сказал поручик О., -- а то уж он очень всех обдувал: -- с ним играть нельзя было.

-- Всех обдувал, а теперь весь в трубу вылетел, -- и штабс-капитан Ш. добродушно рассмеялся. -- Вот Гуськов у него живет -- он

и его чуть не проиграл, право. Так, батенька? — обратился он к Гуськову.

Гуськов засмеялся. У него был жалкий болезненный смех, совершенно изменявший выражение его лица. При этом изменении мне показалось, что я прежде знал и видал этого человека, притом и настоящая фамилия его, Гуськов, была мне знакома, но как и когда я его знал и видел, — я решительно не мог припомнить.

— Да, — сказал Гуськов, беспрестанно поднимая руки к усам и, не дотронувшись до них, опуская их снова. — Павлу Дмитриевичу очень в этот отряд не повезло, такая *veine de malheur* [1] — добавил он старательным, но чистым французским выговором, причем мне снова показалось, что я уже видал, и даже часто видал, его где-то. — Я хорошо знаю Павла Дмитриевича, он мне все доверяет, — продолжал он,

— мы с ним еще старые знакомые, т. е. он меня любит, — прибавил он, видимо испугавшись слишком смелого утверждения, что он старый знакомый адъютанта. — Павел Дмитриевич отлично играет, но теперь удивительно, что с ним сделалось, он совсем как потерянный, — *la chance a tourne*, [2] — добавил он, обращаясь преимущественно ко мне.

Мы сначала с снисходительным вниманием слушали Гуськова, но как только он сказал еще эту французскую фразу, мы все невольно отвернулись от него.

— Я с ним тысячу раз играл, и ведь согласитесь, что это странно, — сказал поручик О. с особенным ударением на атом слове, — удивительно странно: я ни разу у него не выиграл ни абаза. Отчего же я у других выигрываю?

— Павел Дмитриевич отлично играет, я его давно знаю, — сказал я. Действительно, я знал адъютанта уже несколько лет, не раз видал его в игре, большой по средствам офицеров, и восхищался его красивой, немного мрачной и всегда невозмутимо спокойной физиономией, его медлительным малороссийским выговором, его красивыми вещами и лошадьми, его неторопливой хохлацкой молодцеватостью и особенно его умением сдержанно, отчетливо и приятно вести игру. Не раз, каюсь в том, глядя на его полные и белые руки с бриллиантовым перстнем на указательном пальце, которые мне били одну карту за другою, я злился на этот перстень, на белые руки, на всю особу адъютанта, и мне приходили на его счет дурные мысли; но обсуживая потом хладнокровно, я убеждался, что он просто игрок умнее всех тех, с которыми ему приходится играть. Тем более, что, слушая его общие рассуждения об игре, о том, как следует не отгибаться, поднявшись с маленького куша, как следует бастовать в известных случаях, как первое правило играть на чистые и т. д., и т. д., было ясно, что он всегда в выигрыше только оттого, что умнее и характернее всех нас. Теперь же оказалось, что этот воздержный, характерный игрок проигрался впух в отряде не только деньгами, но и вещами, что означает последнюю степень проигрыша для офицера.

— Ему чертовски всегда везет со мной, — продолжал поручик О. — Я уж дал себе слово больше не играть с ним.

— Экой вы чудак, батенька, — сказал Ш., подмигивая на меня всей головой и обращаясь к О., — проиграли ему монетов 300, ведь проиграли!

— Больше, — сердито сказал поручик.

— А теперь хватились за ум, да поздно, батенька: всем давно известно, что он наш полковой шулер, — сказал Ш., едва удерживаясь

от смеха и очень довольный своей выдумкой. — Вот Гуськов налицо, он ему и карты подготовливает. От этого-то у них и дружба, батенька мой... — и штабс-капитан Ш. так добродушно, колебаясь всем телом, расхохотался, что расплескал стакан глинтвейна, который держал в руке в это время.

На желтом исхудалом лице Гуськова показалась как будто краска, он несколько раз открывал рот, поднимал руки к усам и снова опускал их к месту, где должны были быть карманы, приподнимался и опускался и, наконец, не своим голосом сказал Ш.:

— Это не шутка, Николай Иванович; вы говорите такие вещи и при людях, которые меня не знают и видят в нагольном полушубке... потому что... — Голос у него оборвался, и снова маленькие красные ручки с грязными ногтями заходили от полушубка к лицу, то поправляя усы, волосы, нос, то прочищая глаз или почесывая без всякой надобности щеку.

— Да что и говорить, всем известно, батенька, — продолжал Ш., искренно довольный своей шуткой и вовсе не замечая волнения Гуськова. Гуськов еще прошептал что-то и, уперев локоть правой руки на коленку левой ноги, в самом неестественном положении, глядя на Ш., стал делать вид, как будто он презрительно улыбается.

"Нет, — решительно подумал я, глядя на эту улыбку, — я не только видел его, но говорил с ним где-то".

— Мы с вами где-то встречались, — сказал я ему, когда под влиянием общего молчания начал утихать смех Ш. Переменчивое лицо Гуськова вдруг просветлело, и его глаза в первый раз с искренно-веселым выражением устремились на меня.

— Как же, я вас сейчас узнал, — заговорил он по-французски. — В 48 году я вас довольно часто имел удовольствие видеть в Москве, у моей сестры Ивашиной.

Я извинился, что не узнал его сразу в этом костюме и в этой новой одежде. Он встал, подошел ко мне и своей влажной рукой нерешительно, слабо пожал мою руку и сел подле меня. Вместо того, чтобы смотреть на меня, которого он будто бы был так рад видеть, он с выражением какого-то неприятного хвастовства оглянулся на офицеров. Оттого ли, что я узнал в нем человека, которого несколько лет тому назад видал во фраке в гостиной, или оттого, что при этом воспоминании он вдруг поднялся в своем собственном мнении, мне показалось, что его лицо и даже движения совершенно изменились: они выражали теперь бойкий ум, детское самодовольство от сознания этого ума и какую-то презрительную небрежность, так что, признаюсь, несмотря на жалкое положение, в котором он находился, мой старый знакомый уже внушал мне не сострадание, а какое-то несколько неприязненное чувство.

Я живо вспомнил нашу первую встречу. В 48 году я часто в бытность мою в Москве ездил к Ивашину, с которым мы росли вместе и были старые приятели. Его жена была приятная хозяйка дома, любезная женщина, что называется, но она мне никогда не нравилась... В ту зиму, когда я ее знал, она часто говорила с худо-скрываемой гордостью про своего брата, который недавно кончил курс и будто бы был одним из самых образованных и любимых молодых людей в лучшем петербургском свете. Зная по слухам отца Гуськовых, который был очень богат и занимал значительное место, и зная направление сестры, я встретился с молодым Гуськовым с предубеждением. Раз, вечером приехав к Ивашину, я застал у него невысокого, весьма приятного на вид молодого человека в черном фраке, в белом жилете и галстухе, с

которым хозяин забыл познакомить меня. Молодой человек, повидимому собиравшийся ехать на бал, с шляпой в руке стоял перед Ивашиным и горячо, но учтиво спорил с ним про общего нашего знакомого, отличившегося в то время в венгерской кампании. Он говорил, что этот знакомый был вовсе не герой и человек, рожденный для войны, как его называли, а только умный и образованный человек. Помню, я принял участие в споре против Гуськова и увлекся в крайность, доказывая даже, что ум и образование всегда в обратном отношении к храбрости, и помню, как Гуськов приятно и умно доказывал мне, что храбрость есть необходимое следствие ума и известной степени развития, с чем я, считая себя умным и образованным человеком, не мог втайне не согласиться! Помню, что в конце нашего разговора Ивашина познакомила меня с своим братом, и он, снисходительно улыбаясь, подал мне свою маленькую руку, на которую еще не совсем успел натянуть лайковую перчатку, и так же слабо и нерешительно, как и теперь, пожал мою руку. Хотя я и был предубежден против него, я не мог тогда не отдать справедливости Гуськову и не согласиться с его сестрою, что он был действительно умный и приятный молодой человек, который должен был иметь успех в свете. Он был необыкновенно опрятен, изящно одет, свеж, имел самоуверенно-скромные приемы и вид чрезвычайно моложавый, почти детский, за который вы невольно извиняли ему выражение самодовольства и желание умерить степень своего превосходства перед вами, которое постоянно носили на себе его умное лицо и в особенности улыбка. Говорили, что он в эту зиму имел большой успех у московских барынь. Видав его у сестры, я только по выражению счастья и довольства, которое постоянно носила на себе его молодая наружность, и по его иногда нескромным рассказам мог заключить, в какой степени это было справедливо.

Мы встречались с ним раз шесть и говорили довольно много, или, скорее, много говорил он, а я слушал. Он говорил большею частию по-французски, весьма хорошим языком, очень складно, фигурно и умел мягко, учтиво перебивать других в разговоре. Вообще он обращался со всеми и со мною довольно свысока, а я, как это всегда со мной бывает в отношении людей, которые твердо уверены, что со мной следует обращаться свысока, и которых я мало знаю, — чувствовал, что он совершенно прав в этом отношении.

Теперь, когда он подсел ко мне и сам подал мне руку, я живо узнал в нем прежнее высокомерное выражение, и мне показалось, что он не совсем честно пользуется выгодой своего положения нижнего чина перед офицером, так небрежно расспрашивая меня о том, что я делал все это время и как попал сюда. Несмотря на то, что я всякий раз отвечал по-русски, он заговаривал на французском языке, на котором уже заметно выражался не так свободно, как прежде. Про себя он мне мельком сказал, что после своей несчастной, глупой истории (в чем состояла эта история, я не знал, и он не сказал мне) он три месяца сидел под арестом, потом был послан на Кавказ в N. полк, — теперь уже три года служит солдатом в этом полку.

— Вы не поверите, — сказал он мне по-французски, — сколько я должен был выстрадать в этих полках от общества офицеров; еще счастье мое, что я прежде знал адъютанта, про которого мы сейчас говорили: он хороший человек, право, — заметил он снисходительно, — я у него живу, и для меня это все-таки маленькое облегчение. *Oui, mon cher, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas,* [3] — добавил он и вдруг замялся, покраснел и встал с места, заметив, что

к нам подходил тот самый адъютант, про которого мы говорили.

— Такая отрада встретить такого человека, как вы, — сказал мне шопотом Гуськов, отходя от меня, — мне бы много, много хотелось переговорить с вами.

Я сказал, что я очень рад этому, но в сущности, признаюсь, Гуськов внушал мне несимпатическое, тяжелое сострадание.

Я предчувствовал, что с глазу на глаз мне будет неловко с ним, но мне хотелось узнать от него многое и в особенности, почему, когда отец его был так богат, он был в бедности, как это было заметно по его одежде и приемам.

Адъютант поздоровался со всеми нами, исключая Гуськова, и подсел со мной рядом на место, которое занимал разжалованный. Всегда спокойный и медлительный, характерный игрок и денежный человек, Павел Дмитриевич был теперь совершенно другим, как я его знал в цветущие времена его игры; он как будто торопился куда-то, беспрестанно оглядывал всех, и не прошло пяти минут, как он, всегда отказывавшийся от игры, предложил поручику О. составить банчик. Поручик О. отказался под предлогом занятий по службе, собственно же потому, что, зная, как мало вещей и денег оставалось у Павла Дмитриевича, он считал неблагоприятным рисковать свои 300 рублей против 100 рублей, а может и меньше, которые он мог выиграть.

— А что, Павел Дмитриевич, — сказал поручик, видимо желая избавиться от повторения просьбы, — правда говорят — завтра выступление?

— Не знаю, — заметил Павел Дмитриевич, — только велено приготовиться, а право, лучше бы сыграли, я бы вам заложил моего кабардинца.

— Нет, уж нынче...

— Серого, уж куда ни шло, а то, ежели хотите, деньгами. Что ж?

— Да я что ж... Я бы готов, вы не думайте, — заговорил поручик О., отвечая на свое собственное сомнение, — а то завтра, может, набег или движение, выпасться надо.

Адъютант встал и, заложив руки в карманы, стал ходить по площадке. Лицо его приняло обычное выражение холодности и некоторой гордости, которые я любил в нем.

— Не хотите ли стаканчик глинтвейну? — сказал я ему.

— Можно-с, — и он направился ко мне, но Гуськов торопливо взял стакан у меня из рук и понес его адъютанту, стараясь притом не глядеть на него. Но, не обратив вниманья на веревку, натягивающую палатку, Гуськов спотыкнулся на нее и, выпустив из рук стакан, упал на руки.

— Эка филя! — сказал адъютант, протянувший уже руку к стакану. Все расхохотались, не исключая Гуськова, потиравшего рукой свою худую коленку, которую он никак не мог зашибить при падении.

— Вот как медведь пустынноку услужил, — продолжал адъютант. — Так-то он мне каждый день услуживает, все колышки на палатках пооборвал, — все спотыкается.

Гуськов, не слушая его, извинялся перед нами и взглядывал на меня с чуть заметной грустной улыбкой, которую он как будто говорил, что я один могу понимать его. Он был жалок, но адъютант, его покровитель, казался почему-то озлобленным на своего сожителя и никак не хотел оставить его в покое.

— Как же, ловкий мальчик! куда ни поверните.

— Да кто ж не спотыкается на эти колышки, Павел Дмитриевич, —

сказал Гуськов, -- вы сами третьего дня спотыкнулись.

-- Я, батюшка, не нижний чин, с меня ловкости не спрашивается.

-- Он может ноги волочить, -- подхватил штабс-капитан Ш., -- а нижний чин должен подпрыгивать...

-- Странные шутки, -- сказал Гуськов почти шопотом и опустив глаза. Адъютант был, видимо, равнодушен к своему сожителю, он с алчностью вслушивался в его каждое слово.

-- Придется опять в секрет послать, -- сказал он, обращаясь к Ш. и подмигивая на разжалованного.

-- Что ж, опять слезы будут, -- сказал Ш., смеясь. Гуськов не глядел уже на меня, а делал вид, что достает табак из кисета, в котором давно уже ничего не было.

-- Сбирайтесь в секрет, батенька, -- сквозь смех проговорил Ш., -- нынче лазутчики донесли, нападение на лагерь ночью будет, так надо надежных ребят назначать. -- Гуськов нерешительно улыбался, как будто собираясь сказать что-то, и несколько раз поднимал умоляющий взгляд на Ш.

-- Что ж, ведь я ходил, и пойду еще, коли пошлют, -- пролепетал он.

-- Да и пошлют.

-- Ну, и пойду. Что ж такое?

-- Да, как на Аргуне, убежали из секрета и ружье бросили, -- сказал адъютант и, отвернувшись от него, начал нам рассказывать приказания на завтрашний день.

Действительно, в ночь ожидали со стороны неприятеля стрельбу по лагерю, а на завтра какое-то движение. Потолковав еще о разных общих предметах, адъютант как будто нечаянно, вдруг вспомнив, предложил поручику О. прометать ему маленькую.

Поручик О. совершенно неожиданно согласился, и они вместе с Ш. и прапорщиком пошли в палатку адъютанта, у которого был складной зеленый стол и карты.

Капитан, командир нашего дивизиона, пошел спать в палатку, другие господа разошлись тоже, и мы остались одни с Гуськовым. Я не ошибался, мне действительно было с ним неловко с глазу на глаз. Я невольно встал и стал ходить взад и вперед по батарее. Гуськов молча пошел со мной рядом, торопливо и беспокойно поворачиваясь, чтобы не отставать и не опережать меня.

-- Я вам не мешаю? -- сказал он кротким, печальным голосом. Сколько я мог рассмотреть в темноте его лицо, оно мне показалось глубоко задумчивым и грустным.

-- Нисколько, -- отвечал я; но так как он не начинал говорить, и я не знал, что сказать ему, мы довольно долго ходили молча.

Сумерки уже совершенно заменились темнотою ночи, над черным профилем гор зажглась яркая вечерняя зарница, над головами на светло-синем морозном небе мерцали мелкие звезды, со всех сторон краснело во мраке пламя дымящихся костров, вблизи серели палатки, и мрачно чернела насыпь нашей батареи. От ближайшего костра, около которого, греясь, тихо разговаривали наши денщики, изредка блестела на батарее медь наших тяжелых орудий, и показывалась фигура часового в шинели в накидку, мерно двигавшегося вдоль насыпи.

-- Вы не можете себе представить, какая отрада для меня говорить с таким человеком, как вы, -- сказал мне Гуськов, хотя он еще ни о чем не говорил со мной, -- это может понять только тот, кто побывал в моем положении.

Я не знал, что отвечать ему, и мы снова молчали, несмотря на то, что ему, видимо, хотелось высказаться, а мне выслушать его.

— За что вы были... за что вы пострадали? — спросил я его наконец, не придумав ничего лучше, чтоб начать разговор.

— Разве вы не слышали про эту несчастную историю с Метениным?

— Да, дуэль, кажется; слышал мельком, — отвечал я: — ведь я уже давно на Кавказе.

— Нет, не дуэль, но эта глупая и ужасная история! Я вам все расскажу, коли вы не знаете. Это было в тот самый год, когда мы с вами встречались у сестры, я жил тогда в Петербурге. Надо вам сказать, я имел тогда то, что называется *une position dans le monde*, [4] и довольно выгодную, ежели не блестящую. *Mon pere me donnait 10 000 par an.* [5] В 49 году мне обещали место при посольстве в Турине, дядя мой по матери мог и всегда был готов очень много для меня сделать.

Дело прошлое теперь, *j'etais recu dans la meilleure societe de Petersbourg, je pouvais pretendre* [6] на лучшую партию. Учился я, как все мы учились в школе, так что особенного образования у меня не было; правда, я читал много после, *mais j'avais surtout*, знаете, *se jargon du monde*, [7] и, как бы то ни было, меня находили почему-то одним из первых молодых людей Петербурга. Что меня еще больше возвысило в общем мнении — *c'est cette liaison avec m-me D.*, [8] про которую много говорили в Петербурге, но я был ужасно молод в то время и мало ценил все эти выгоды. Просто я был молод и глуп, чего мне еще нужно было? В то время в Петербурге этот Метенин имел репутацию... — И Гуськов продолжал в этом роде рассказывать мне историю своего несчастья, которую, как вовсе неинтересную, я пропущу здесь. — Два месяца я сидел под арестом, — продолжал он, — совершенно один, и чего ни передумал я в это время. Но знаете, когда все это кончилось, как будто уж окончательно была разорвана за связь с прошедшим, мне стало легче. *Mon pere, vous en avez entendu parler* [9] наверно, он человек с характером железным и с твердыми убеждениями, *il m'a desherite* [10] и прекратил все сношения со мной. По его убеждениям так надо было сделать, и я нисколько не обвиняю его: *il a ete consequent.* [11] Зато и я не сделал шагу для того, чтобы он изменил своему намерению. Сестра была за границей, *m-me D.* одна писала ко мне, когда позволили, и предлагала помощь, но вы понимаете, что я отказался. Так что у меня не было тех мелочей, которые облегчают немного в этом положении, знаете: ни книг, ни белья, ни пищи, ничего. Я много, много передумал в это время, на все стал смотреть другими глазами; например, этот шум, толки света обо мне в Петербурге не занимали меня, не льстили нисколько, все это мне казалось смешно.

Я чувствовал, что сам был виноват, неосторожен, молод, я испортил свою карьеру и только думал о том, как снова поправить ее. И я чувствовал в себе на это силы и энергию. Из-под ареста, как я вам говорил, меня отослали сюда, на Кавказ, в N. полк.

— Я думал, — продолжал он, воодушевляясь более и более, — что здесь, на Кавказе — *la vie de camp*, [12] люди простые, честные, с которыми я буду в сношениях, война, опасности, все это придется к моему настроению духа как нельзя лучше, что я начну новую жизнь. *On me verra au feu* [13] — полюбят меня, будут уважать меня не за одно имя, — крест, унтер-офицер, снимут штраф, и я опять вернусь *et, vous savez, avec ce prestige du malheur! Ho quel disenchantment.*

[14] Вы не можете себе представить, как я ошибся!.. Вы знаете общество офицеров нашего полка? — Он помолчал довольно долго, ожидая, как мне показалось, что я скажу ему, что знаю, как нехорошо общество здешних офицеров; но я ничего не отвечал ему. Мне было противно, что он, потому верно, что я знал по-французски, предполагал, что я должен был быть возмущен против общества офицеров, которое я, напротив, пробыв долго на Кавказе, успел оценить вполне и уважал в тысячу раз больше, чем то общество, из которого вышел господин Гуськов. Я хотел ему сказать это, но его положение связывало меня.

— В N. полку общество офицеров в тысячу раз хуже здешнего, — продолжал он. — *J'espere que c'est beaucoup dire*, [15] т.е. вы не можете себе представить, что это такое! Уже не говорю о юнкерах и солдатах. Это ужас что такое! Меня приняли сначала хорошо, это совершенная правда, но потом, когда увидели, что я не могу не презирать их, знаете, в этих незаметных мелких отношениях, увидели, что я человек совершенно другой, стоящий гораздо выше их, они озлобились на меня и стали отплачивать мне разными мелкими унижениями. *Ce que j'ai eu a souffrir, vous ne vous faites pas une idee*. [16] Потом эти невольные отношения с юнкерами, а главное *avec les petits moyens que j'avais, je manquais de tout*, [17] у меня было только то, что сестра мне присылала. Вот вам доказательство, сколько я выстрадал, что я с моим характером, *avec ma fierte, j'ai ecrit a mon pere*, [18] умолял его прислать мне хоть что-нибудь. Я понимаю, что прожить пять лет такой жизнью — можно сделаться таким же, как наш разжалованный Дромов, который пьет с солдатами и ко всем офицерам пишет записочки, прося ссудить его тремя рублями, и подписывает *tout a vous* [19] Дромов. Надобно было иметь такой характер, который я имел, чтобы совершенно не погрязнуть в этом ужасном положении. — Он долго молча ходил подле меня. — *Avez-vous un rapiros?* [20] — сказал он мне. — Да, так на чем я остановился? Да.

Я не мог этого выдержать, не физически, потому что хотя и плохо, холодно и голодно было, я жил как солдат, но все-таки и офицеры имели какое-то уважение ко мне. Какой-то *prestige* [21] оставался на мне и для них. Они не посылали меня в караулы, на ученье. Я бы этого не вынес. Но морально страдал я ужасно. И главное, не видел выхода из этого положения. Я писал дяде, умолял его перевести меня в здешний полк, который по крайней мере бывает в делах, и думал, что здесь Павел Дмитриевич, *qui est le fils de l'intendant de mon pere*, [22] все-таки он мог быть мне полезен. Дядя сделал это для меня, меня перевели. После того полка этот оказался для меня собранием камергеров. Потом Павел Дмитриевич тут, он знал, кто я такой, и меня приняли прекрасно. По просьбе дяди... Гуськов, *vous savez...* [23] но я заметил, что с этими людьми, без образования и развития, — — они не могут уважать человека и оказывать ему признаки уважения, ежели на нем нет этого ореола богатства, знатности; я замечал, как понемногу, когда увидели, что я беден, их отношения со мной становились небрежнее, небрежнее и, наконец, сделались почти презрительные. Это ужасно! но это совершенная правда.

— Здесь я был в делах, дрался, *on m'a vu au feu*, [24] — продолжал он, — но когда это кончится? Я думаю, никогда! а силы мои и энергия уже начинают истощаться. Потом я воображал *la guerre, la vie de camp*, [25] но все это не так, как я вижу — в полушубке,

немытые, в солдатских сапогах вы идете в секрет и целую ночь лежите в овраге с каким-нибудь Антоновым, за пьянство отданным в солдаты, и всякую минуту вас из-за куста могут застрелить, вас или Антонова, все равно. Тут уж не храбрость — это ужасно. *C'est affreux, ça tue.* [26]

— Что ж, вы можете теперь за поход получить унтер-офицера, а на будущий год и прапорщика, — сказал я.

— Да, могу, мне обещали, но еще два года, и то едва ли. А что такое эти два года, ежели бы знал кто-нибудь. Вы представьте себе эту жизнь с этим Павлом Дмитриевичем: карты, грубые шутки, кутеж, вы хотите сказать что-нибудь, что у вас накипело на душе, вас не понимают или над вами еще смеются, с вами говорят не для того, чтобы сообщить вам мысль, а так, чтоб, ежели можно, еще из вас сделать шута. Да и все это так пошло, грубо, гадко, и всегда вы чувствуете, что вы нижний чин, это вам всегда дают чувствовать. От этого вы не поймете, какое наслаждение поговорить а *coeur ouvert* [27] с таким человеком, как вы.

Я никак не понимал, какой это я был человек, и поэтому не знал, что отвечать ему...

— Закусывать будете? — сказал мне в это время Никита, незаметно подобранный ко мне в темноте и, как я заметил, недовольный присутствием гостя. — Только вареники да битой говядины немного осталось.

— А капитан уж закусывал?

— Они спят давно, — угрюмо отвечал Никита. На мое приказание принести нам сюда закусить и водочки он недовольно проворчал что-то и потащился к своей палатке.

Поворчав еще там, он однако принес нам погребец; на погребце поставил свечку, обвязав ее наперед бумагой от ветру, кастрюльку, горчицу в банке, жестяную рюмку с ручкой и бутылку с полынной настойкой. Устроив все это, Никита постоял еще несколько времени около нас и посмотрел, как я и Гуськов выпили водки, что ему, видимо, было очень неприятно. При матовом освещении свечи сквозь бумагу и среди окружающей темноты виднелись только тюленевая кожа погребца, ужин, стоявший на ней, лицо, полушубок Гуськова и его маленькие красные ручки, которыми он принялся выкладывать вареники из кастрюльки. Кругом все было черно и, только вглядевшись, можно было различить черную батарею, такую же черную фигуру часового, видневшуюся через бруствер, по сторонам огни костров и наверху красноватые звезды. Гуськов печально и стыдливо чуть заметно улыбался, как будто ему неловко было глядеть мне в глаза после своего признания. Он выпил еще рюмку водки и ел жадно, выскребая кастрюльку.

— Да, для вас все-таки облегчение, — сказал я ему, чтобы сказать что-нибудь, — ваше знакомство с адъютантом: он, я слышал, очень хороший человек.

— Да, — отвечал разжалованный, — он добрый человек, но он не может быть другим, не может быть человеком, с его образованием и нельзя требовать. — Он вдруг как будто покраснел. — Вы заметили его грубые шутки нынче о секрете, — и Гуськов, несмотря на то, что я несколько раз старался замять разговор, стал оправдываться передо мной и доказывать, что он не убежал из секрета и что он не трус, как это хотели дать заметить адъютант и Ш.

— Как я говорил вам, — продолжал он, обтирая руки о полушубок,

— такие люди не могут быть деликатны с человеком — солдатом и у которого мало денег; это выше их сил. И вот последнее время, как я пять месяцев уж почему-то ничего не получаю от сестры, я заметил, как они переменялись ко мне. Этот полушубок, который я купил у солдата и который не греет, потому что весь вытерт (при этом он показал мне голую полу), не внушает ему сострадания или уважения к несчастью, а презрение, которое он не в состоянии скрывать. Какая бы ни была моя нужда, как теперь, что мне есть нечего, кроме солдатской каши, и носить нечего, — продолжал он потупившись, наливая себе еще рюмку водки, — он не догадается предложить мне денег займа, зная наверно, что я отдам ему, а ждет, чтобы я в моем положении обратился к нему. А вы понимаете, каково это мне и с ним. Вам бы, например, я прямо сказал — *vous etes au-dessus de cela; mon cher, je n'ai pas le sou.* [28] И знаете, — сказал он, вдруг отчаянно взглядывая мне в глаза, — вам я прямо говорю, я теперь в ужасном положении: *pouvez vous me preter 10 roubles argent?* [29] Сестра должна мне прислать по следующей почте *et mon pere...* [30]

— Ах, я очень рад, — сказал я, тогда как, напротив, мне было больно и досадно, особенно потому, что, накануне проигравшись в карты, у меня у самого оставалось только рублей пять с чем-то у Никиты. — Сейчас, — сказал я, вставая, — я пойду возьму в палатке.

— Нет, после, *ne vous derangez pas.* [31] Однако, не слушая его, я пролез в застегнутую палатку, где стояла моя постель и спал капитан. — Алексей Иваныч, дайте мне пожалуйста 10 р. до рационов, — сказал я капитану, расталкивая его.

— Что, опять продулись? а еще вчера хотели не играть больше, — спросонков проговорил капитан.

— Нет, я не играл, а нужно, дайте пожалуйста.

— Макатюк! — закричал капитан своему денщику, — достань шкатулку с деньгами и подай сюда.

— Тише, тише, — заговорил я, слушая за палаткой мерные шаги Гуськова.

— Что? отчего тише?

— Это этот разжалованный просил у меня займа. Он тут!

— Вот знал бы, так не дал, — заметил капитан, — я про него слышал — первый пакостник мальчишка! — Однако капитан дал таки мне деньги, велел спрятать шкатулку, хорошенько запахнуть палатку и, снова повторив: — вот коли бы знал на что, так не дал бы, — завернулся с головой под одеяло. — Теперь за вами тридцать два, помните, — прокричал он мне.

Когда я вышел из палатки, Гуськов ходил около диванчиков, и маленькая фигура его с кривыми ногами и в уродливой папахе с длинными белыми волосами выказывалась и скрывалась во мраке, когда он проходил мимо свечки. Он сделал вид, как будто не замечает меня. Я передал ему деньги. Он сказал: *merci* и, скомкав, положил бумажку в карман панталон.

— Теперь у Павла Дмитриевича, я думаю, игра во всем разгаре, — вслед за этим начал он.

— Да, я думаю.

— Он странно играет, всегда аребур и не отгибается; когда везет, это хорошо, но зато, когда уже не пойдет, можно ужасно проиграться. Он и доказал это. В этот отряд, ежели считать с вещами, он больше полуторы тысячи проиграл. А как играл воздержно прежде, так что этот

ваш офицер как будто сомневался в его честности.

— Да это он так... Никита, не осталось ли у нас чихиря? — сказал я, очень облегченный разговорчивостью Гуськова. Никита поворчал еще, но принес нам чихиря и снова с злобой посмотрел, как Гуськов выпил свой стакан. В обращении Гуськова заметна стала прежняя развязность. Мне хотелось, чтобы он ушел поскорее, и казалось, что он этого не делает только потому, что ему совестно было уйти тотчас после того, как он получил деньги. Я молчал.

— Как это вы с средствами, без всякой надобности, решились *de gaiete de coeur* [32] итти служить на Кавказ? вот чего я не понимаю, — сказал он мне.

Я постарался оправдаться в таком странном для него поступке.

— Я воображаю, и для вас как тяжело общество этих офицеров, людей без понятия об образовании. Вы не можете с ними понимать друг друга. Ведь кроме карт, вина и разговоров о наградах и походах, вы десять лет проживете, ничего не увидите и не услышите.

Мне было неприятно, что он хотел, чтобы я непременно разделял его положение, и я совершенно искренно уверял его, что я очень любил и карты, и вино, и разговоры о походах, и что лучше тех товарищей, которые у меня были, я не желал иметь. Но он не хотел верить мне.

— Ну, вы это так говорите, — продолжал он, — а отсутствие женщин, т. е. я разумею *femmes comme il faut*, [33] разве это не ужасное лишение? Я не знаю, что бы я дал теперь, чтоб только на минутку перенестись в гостиную и хоть сквозь щелочку посмотреть на милую женщину.

Он помолчал немного и выпил еще стакан чихиря.

— Ах, Боже мой, Боже мой! Может, случится еще нам когда-нибудь встретиться в Петербурге, у людей, быть и жить с людьми, с женщинами. — Он вылил последнее вино, оставшееся в бутылке, и, выпив его, сказал: — Ах, *pardou*, может быть, вы хотели еще, я ужасно рассеян. Однако я, кажется, слишком много выпил *et je n'ai pas la tete forte*. [34] Было время, когда я жил на Морской *au rez de chaussee*, [35] у меня была чудная квартирка, мебель, знаете, я умел это устроить изящно, хотя не слишком дорого, правда: *mon pere* дал мне фарфоры, цветы, серебра чудесного. *Le matin je sortais*, визиты, а *5 heures regulierement* [36] я ехал обедать к ней, часто она была одна. *Il faut avouer que c'etait une femme ravissante?* [37] Вы ее не знали? нисколько?

— Нет.

— Знаете, эта женственность была у нее в высшей степени, нежность и потом что за любовь! Господи! я не умел ценить тогда этого счастья. Или после театра мы возвращались вдвоем и ужинали. Никогда с ней скучно не было, *toujours gaie, toujours aimante*. [38] Да, я и не предчувствовал, какое это было редкое счастье. *Et j'ai beaucoup a me reprocher* перед нею. *Je l'ai fait souffrir et souvent*. [39] Я был жесток. Ах, какое чудное было время! Вам скучно?

— Нет, нисколько. — Так я вам расскажу наши вечера. Бывало, я вхожу — эта лестница, каждый горшок цветов я знал — ручка двери, все это так мило, знакомо, потом передняя, ее комната... Нет, уже это никогда, никогда не возвратится! Она и теперь пишет мне, я вам, пожалуй, покажу ее письма. Но я уж не тот, я погиб, я уже не стою ее... Да, я окончательно погиб! *Je suis casse*. [40] Нет во мне ни энергии, ни гордости, ничего. Даже благородства нет... Да, я погиб! И никто никогда не поймет моих страданий. Всем все равно. Я пропащий

человек! никогда уж мне не подняться, потому что я морально упал... в грязь... упал... -- В эту минуту в его словах слышно было искреннее, глубокое отчаяние: он не смотрел на меня и сидел неподвижно.

-- Зачем так отчаиваться? -- сказал я.

-- Оттого, что я мерзок, эта жизнь уничтожила меня, все, что во мне было, все убито. Я терплю уж не с гордостью, а с подлостью, *dignite dans le malheur* [41] уже нет. Меня унижают ежеминутно, я все терплю, сам лезу на униженья. Эта грязь *a deteint sur moi*, [42] я сам стал груб, я забыл, что знал, я по-французски уж не могу говорить, я чувствую, что я подл и низок. Драться я не могу в этой обстановке, решительно не могу, я бы, может быть, был герой: дайте мне полк, золотые эполеты, трубачей, а итти рядом с каким-то диким Антоном Бондаренко и т.

д. и думать, что между мной и им нет никакой разницы, что меня убьют или его убьют -- все равно, эта мысль убивает меня. Вы понимаете ли, как ужасно думать, что какой-нибудь оборванец убьет меня, человека, который думает, чувствует, и что все равно бы было рядом со мной убить Антонова, существо, ничем не отличающееся от животного, и что легко может случиться, что убьют именно меня, а не Антонова, как всегда бывает *une fatalite* [43] для всего высокого и хорошего.

Я знаю, что они зовут меня трусом; пускай я трус, я точно трус и не могу быть другим. Мало того, что я трус, я по-ихнему нищий и презренный человек. Вот я у вас сейчас выпросил денег, и вы имеете право презирать меня. Нет, возьмите назад ваши деньги, -- и он протянул мне скомканную бумажку. -- Я хочу, чтоб вы меня уважали. -- Он закрыл лицо руками и заплакал; я решительно не знал, что говорить и делать.

-- Успокойтесь, -- говорил я ему, -- вы слишком чувствительны, не принимайте все к сердцу, не анализируйте, смотрите на вещи проще. Вы сами говорите, что у вас есть характер. Возьмите на себя, вам недолго уже осталось терпеть, -- говорит я ему, но очень нескладно, потому что был взволнован и чувством сострадания, и чувством раскаяния в том, что я позволил себе мысленно осуждать человека, истинно и глубоко несчастливого.

-- Да, -- начал он, -- ежели бы я слышал хоть раз с тех пор, как я в этом аду, хоть одно слово участия, совета, дружбы -- человеческое слово, такое, какое я от вас слышу. Может быть, я бы мог спокойно переносить все; может, я даже взял бы на себя и мог быть даже солдатом, но теперь это ужасно... Когда я рассуждаю здраво, я желаю смерти, да и зачем мне любить опозоренную жизнь и себя, который погиб для всего хорошего в мире? А при малейшей опасности я вдруг невольно начинаю обожать эту подлую жизнь и беречь ее, как что-то драгоценное, и не могу, *je ne puis pas*, [44] преодолеть себя. То есть я могу, -- продолжал он опять после минутного молчания, -- но мне это стоит слишком большого труда, громадного труда, коли я один. С другими в обыкновенных условиях, как вы идете в дело, я храбр, *j'ai fait mes preuves*, [45] потому что я самолюбив и горд: это мой порок, и при других... Знаете, позвольте мне ночевать у вас, а то у нас целую ночь игра будет, мне где-нибудь, на земле.

Пока Никита устраивал постель, мы встали и стали снова ходить в темноте по батарее. Действительно, у Гуськова голова была, должно

быть, очень слаба, потому что с двух рюмок водки и двух стаканов вина он покачивался. Когда мы встали и отошли от свечки, я заметил, что он, стараясь, чтобы я не видал этого, сунул снова в карман десятирублевую бумажку, которую во все время предшествовавшего разговора держал в ладони. Он продолжал говорить, что он чувствует, что может еще подняться, ежели бы был у него человек, как я, который бы принимал в нем участие.

Мы уже хотели итти в палатку ложиться спать, как вдруг над нами просвистело ядро и недалеко ударилось в землю. Так странно было, -- этот тихий спящий лагерь, наш разговор, и вдруг ядро неприятельское, которое, Бог знает откуда, влетело в середину наших палаток, -- так странно, что я долго не мог дать себе отчета, что это такое. Наш солдатик Андреев, ходивший на часах по батарее, подвинулся ко мне.

-- Вишь подкрался! Вот тут огонь видать было, -- сказал он.

-- Надо капитана разбудить, -- сказал я и взглянул на Гуськова.

Он стоял, пригнувшись совсем к земле, и заикался, желая выговорить что-то. -- Это... а то... неприя... это пре... смешно. -- Больше он не сказал ничего, и я не видал, как и куда он исчез мгновенно.

В капитанской палатке зажглась свеча, послышался его всегдашний пробудный кашель, и он сам скоро вышел оттуда, требуя пальник, чтобы закурить свою маленькую трубочку.

-- Что это, батюшка, -- сказал он, улыбаясь, -- не хотят мне нынче спать давать: то вы с своим разжалованным, то Шамиль; что же мы будем делать: отвечать или нет?

Ничего не было об этом в приказании?

-- Ничего. Вот он еще, -- сказал я, -- и из двух. --

Действительно, во мраке, справа впереди, загорелось два огня, как два глаза, и скоро над нами пролетело одно ядро и одна, должно быть наша, пустая граната, производившая громкий и пронзительный свист. Из соседних палаток повылезали солдатики, слышно было их побрякиванье и потягиванье и говор.

-- Вишь, в очко свистит, как соловей, -- заметил артиллерист.

-- Позовите Никиту, -- сказал капитан с своей всегдашней доброй усмешкой. -- Никита! ты не прячься, а горных соловьев послушай.

-- Что ж, ваше высокоблагородие, -- говорил Никита, стоя подле капитана, -- я их видал, соловьев-то, я не боюсь, а вот гость-то, что тут был, наш чихирь пил, как услышал, так живо стрелка дал мимо нашей палатки, шаром прокатился, как зверь какой изогнулся!

-- Однако надо съездить к начальнику артиллерии, -- сказал мне капитан серьезным начальническим тоном, -- спросить, стрелять ли на огонь или нет; оно толку не будет, но все-таки можно. Потрудитесь, съездите и спросите. Велите лошадь оседлать, скорей будет, хоть моего Полкана возьмите.

Через пять минут мне подали лошадь, и я отправился к начальнику артиллерии.

-- Смотрите, отзыв дышло, -- шепнул мне пунктуальный капитан, -- а то в цепи не пропустят.

До начальника артиллерии было с полверсты, вся дорога шла между палаток. Как только я отъехал от нашего костра, сделалось так темно, что я не видал даже ушей лошади, а только огни костров, казавшиеся мне то очень близко, то очень далеко, мерещились у меня в глазах. Отъехав немного по милости лошади, которой я пустил поводья, я стал различать белые четверугольные палатки, потом и черные колеи

дороги; через полчаса, спросив раза три дорогу, раза два зацепив за колышки палаток, за что получал всякий раз ругательства из палаток, и раза два остановленный часовыми, я приехал к начальнику артиллерии. Покуда я ехал, я слышал еще два выстрела по нашему лагерю, но снаряды не долетали до того места, где стоял штаб. Начальник артиллерии не приказал отвечать на выстрелы, тем более, что неприятель приостановился, и я отправился домой, взяв лошадь в повод и пробираясь пешком между пехотными палатками. Не раз я уменьшал шаг, проходя мимо солдатской палатки, в которой светился огонь, и прислушивался или к сказке, которую рассказывал балагур, или к книжке, которую читал грамотей и слушало целое отделение, битком набившись в палатке и около нее, прерывая чтеца изредка разными замечаниями, или просто к толкам о походе, о родине, о начальниках.

Проходя около одной из палаток 3-го батальона, я услышал громкий голос Гуськова, который говорил очень весело и бойко. Ему отвечали молодые, тоже веселые, господские, не солдатские голоса. Это, очевидно, была юнкерская или фельдфебельская палатка. Я остановился.

— Я его давно знаю, — говорил Гуськов. — Когда я жил в Петербурге, он ко мне ходил часто, и я бывал у него, он очень в хорошем свете жил.

— Про кого ты говоришь? — спросил пьяный голос.

— Про князя, — сказал Гуськов. — Мы ведь родня с ним, а главное — старые приятели. Оно, знаете, господа, хорошо этого знакомого иметь. Он ведь богат страшно. Ему сто целковых пустяки. Вот я взял у него немного денег, пока мне сестра придет.

— Ну, посылай же.

— Сейчас. Савельич, голубчик! — заговорил голос Гуськова, подвигаясь к дверям палатки, — вот тебе десять монетов, поди к маркитанту, возьми две бутылки кахетинского и еще чего? Господа? Говорите! — И Гуськов, шатаясь, с спутанными волосами, без шапки вышел из палатки. Отворотив полы полушубка и засунув руки в карманы своих сереньких панталон, он остановился в двери. Хотя он был в свету, а я в темноте, я дрожал от страха, чтобы он не увидел меня, и, стараясь не делать шума, пошел дальше.

— Кто тут? — закричал на меня Гуськов совершенно пьяным голосом. Видно, на холоде разобрало его. — Какой тут чорт с лошадью шляется?

Я не отвечал и молча выбрался на дорогу.

15 ноября 1856 г.

[1] [полоса неудачи,]

[2] [счастье отвернулось,]

[3] [Да, дорогой мой, дни идут один за другим, но не повторяются,]

[4] [положение в свете,]

[5] [Отец давал мне 10 000 ежегодно.]

[6] [я был принят в лучшем обществе Петербурга, я мог рассчитывать]

[7] [но особенно я владел этим светским жаргоном,]

[8] [так это связь с г-жей Д.,]

[9] [Мой отец, вы слышали о нем]

[10] [он лишил меня права на наследство]
[11] [он был последователен.]
[12] [лагерная жизнь,]
[13] [меня увидят под огнем]
[14] [и, знаете, с этим обаянием несчастья! Но, какое разочарование.]
[15] [Надеюсь, что этим достаточно сказано,]
[16] [Вы не можете себе представить, сколько я перестрадал.]
[17] [при тех маленьких средствах, которые у меня были, я нуждался во всем,]
[18] [с моей гордостью, я написал отцу,]
[19] [весь ваш]
[20] [Есть у вас папироса?]
[21] [авторитет]
[22] [сын управляющего моего отца,]
[23] [вы знаете...]
[24] [меня видели под огнем,]
[25] [войну, лагерную жизнь,]
[26] [Это ужасно, это убийственно.]
[27] [по душе]
[28] [вы выше этого; дорогой мой, у меня нет ни гроша.]
[29] [можете вы одолжить мне 10 рублей серебром?]
[30] [и мой отец...]
[31] [не беспокойтесь.]
[32] [с легким сердцем]
[33] [порядочных женщин,]
[34] [и у меня слабая голова.]
[35] [в нижнем этаже,]
[36] [Утром я выезжал, ровно в 5 часов]
[37] [Надо признаться, что это была очаровательная женщина!]
[38] [всегда веселая, всегда любящая.]
[39] [Я за многое упрекаю себя перед нею. Я ее часто заставлял страдать.]
[40] [Я разбит.]
[41] [достоинства в несчастьи]
[42] [отпечаталась на мне,]
[43] [рок]
[44] [я не могу,]
[45] [я доказал,]